

Лаборатория  
Творчества



ВИТАЛИЙ МЕЛЬНИКОВ

# ЖИЗНЬ. КИНО



bhv®

# Лаборатория Творчества

ВИТАЛИЙ МЕЛЬНИКОВ

# ЖИЗНЬ. КИНО



УДК 791.43/45  
ББК 85.373(2)  
М48

**Мельников В. В.**

М48 Жизнь. Кино. — СПб.: БХВ-Петербург, 2011. —  
368 с.: ил.

ISBN 978-5-9775-0669-4

Виталий Мельников — режиссер всеми любимых фильмов: «Начальник Чукотки», «Семь невест ефрейтора Збруева», «Здравствуй и прощай», «Старший сын», «Женитьба», «Выйти замуж за капитана», «Царская охота», «Бедный, бедный Павел», «Агитбригада "Бей врага"!» и многих других. Но и сама его жизнь могла бы послужить основой для увлекательного сценария. Судьба В. Мельникова насыщена событиями и фильмами. И, конечно, встречами с яркими людьми: Сергеем Эйзенштейном, Михаилом Роммом, Эльдаром Рязановым, Евгением Леоновым, Михаилом Кононовым, Юрием Богатыревым, Олегом Ефремовым, Олегом Далем, Натальей Гундаревой, Светланой Крючковой, Виктором Сухоруковым и другими. А поскольку в самом названии своей книги режиссер объединяет жизнь и кино, он увлеченно рассказывает о том, что любит и умеет делать лучше всего — о съемках фильмов.

*Для широкого круга читателей*

УДК 791.43/45  
ББК 85.373(2)

В книге использованы фотоматериалы  
из архива В. В. Мельникова

ISBN 978-5-9775-0669-4

© Мельников В. В., 2011  
© Оформление, издательство "БХВ-Петербург", 2011

# Оглавление

Предисловие .....	7
Тише, товарищи! Шапки долой! .....	10
Андалузская ночь так была хороша .....	16
Недоразумение .....	23
Явление Оверьки Чижика .....	29
Перековка .....	34
Роньжа .....	42
Если завтра война .....	53
Агитбригада «Бей врага» .....	62
Молодым везде у нас дорога .....	75
«Пятьсот веселый» .....	86
Факультет 138 .....	97
«Вторые горячие» .....	105
Муксун в томате .....	115
Кто есть кто .....	125
Ковбойка Хо Ши Мина .....	146
Каспийские джунгли .....	150
Плашкоут «Камбала» .....	161
У камеры .....	170
Орден Ленина имени Ленина .....	186
Без кормчего .....	198
Бобик против Гамлета .....	205
«Начальник Чукотки» .....	220
Марафон .....	242

Кино большое – кино маленькое.....	274
«Женитьба» .....	283
А вы нас обманите!.....	288
Три попытки.....	298
Не счесть алмазов.....	306
Поворот «Все вдруг» .....	322
Новые времена .....	329
Фильмография.....	348
Призы и награды .....	355

# Предисловие

Никаких записок и воспоминаний я писать не собирался. Рейхстага я не штурмовал и никаких судьбоносных перестроек не сотворял. Просто у меня получилась довольно-таки длинная жизнь, но это не моя заслуга.

Однажды домашние попросили меня привести архив в порядок. Разрозненную грудку писем, фотографий и всякой бумажной рухляди они величают «архивом». Несколько дней я трудолюбиво перебирал этот архив, но все оставил «на потом». Через год грудка бумаг увеличилась, а напор домашних усилился. Тогда я соврал, что буду писать книгу и архив мне нужен в неприкосновенности. И вот, теперь я вынужден писать нечто в чисто воспитательных целях — ведь я всегда говорил внукам, что врать — нехорошо.

Роясь в архиве, я наткнулся на жестяную коробку. На коробке ужасным почерком внука Тёмы было написано: «Дедские значки». Оказывается, внук имел в виду мои личные значки, то есть «дедовские». Здесь лежали значки с кудрявым Лениным (я был, оказывается, октябренок). Более того, я был «ворошиловским стрелком», я был «готов к труду и обороне», я собрал горы металлолома и за это тоже был награжден особым значком. Коробка со значками была тяжелая. Выходит, я славно поработал в жизни. Теперь осталось только выстроить будущую книгу

в каком-нибудь порядке. И тут меня одолели неуправляемые ассоциации. «Неуправляемые ассоциации» — это когда пытаешься вспомнить одно, а вспоминается совсем другое.

Среди самых почетных значков, подтверждающих, что я «заслуженный» и даже «народный», бережно хранится медаль нашего семейного пуделя Дарика. У детей и внуков, видимо, своя шкала ценностей. Полное имя Дарика было Эльдар. Его назвали так потому, что в пуделином семействе, к которому он принадлежал, имена всех ближайших родственников должны были начинаться с буквы «э». Кроме того, мои дети называли щенка Эльдаром, потому что любили фильмы Эльдара Рязанова. Они думали, что Рязанову будет приятно узнать о таком отличии.

Эльдару-режиссеру я не спешил сообщать об Эльдаре-пуделе. Мы встречались довольно часто. Вместе с Эльдаром-режиссером мы обнаружили в этих встречах даже определенную закономерность. Как только я приезжал в Москву на «Кинопанораму», обязательно помирал какой-нибудь вождь. Кажется, именно в день смерти Брежнева я привез комедию с двусмысленным названием «Здравствуй и прощай». В следующий мой приезд умер Черненко. Каждый раз Москва меня встречала приспущенными знаменами и траурными мелодиями.

— Может, мне вообще не приезжать? — спросил я у Рязанова.

— Что ты! Что ты! — ответил Эльдар. — Приезжай к нам почаще!

Вот такие были времена!

В кино человека, приносящего на съемках всякие неприятности, называют «бодяга». Если несколько дней подряд идет дождь или напивается артист, обвиняют не погоду и не артиста, а «бодягу». Правильно ли было и в этих случаях тоже считать меня «бодягой»? Я надолго задумался над этим вопросом. Потом меня одолели иные неуправляемые ассоциации. В груди бумаг я обнаружил пожелтевшую брошюрку на языке хинди. Я не знал языка хинди, но вспомнил, кто эту брошюрку мне подарил.



Дело было на острове Маврикий. Помню, я долго летел туда через Дакар, Тананариву, что на Мадагаскаре, и прилетел, наконец, на Маврикий. Здесь выяснилось, что меня заслали туда по ошибке. Компетентные органы в Госкино узнали, что на Маврикии затевается какой-то морской праздник. Решено было срочно порадовать островитян советским фильмом на морскую тематику. Послали мой фильм «Выйти замуж за капитана». Но только на Маврикии, в самом центре Индийского океана, обнаружилось, что это фильм о сугубо сухопутном капитане-пограничнике и девушке-фотографе — отнюдь не морячке. Мы с Верой Глаголевой не огорчились и быстро подружились с маврикийской общественностью. Вот тогда-то островитянин Джо и подарил мне свою брошюру. На папины деньги он в этом сочинении от нечего делать прославлял терроризм. Сегодня, через много лет, я полистал страницы с непонятными закорючками и стал гадать, почему он мне это подарил? Видимо, Джо хотел сделать приятное советскому человеку — между коммунизмом и терроризмом разницы он не видел. Потом вспомнились иные встречи, случаи, лица. И тут я понял, что книжка у меня получится уж очень пестрая и «выстроить» ее невозможно. Но можно свободно и безответственно плыть по волнам памяти, а там — будь что будет.

Санкт-Петербург  
07. 11. 2004  
Виталий Мельников

## Тише, товарищи! Шапки долой!

— Здесь сливаются Шилка и Аргунь! — мать кричала мне в ухо учительским голосом. — Это так называемые «истоки»! — внушала она. У матери было два голоса: один домашний, а другой учительский, особенный, в нем слова и звуки отскакивали друг от друга, как горошины, и оставляли незримые вмятины в памяти «учащихся».

— Здесь! — кричала мать, — начинается уже другая река! Она называется Зея!

Кричать приходилось оттого, что рядом с нами грохотал ледоход. Понять, где тут Шилка, где Аргунь, да еще и какая-то Зея, сейчас не смог бы, наверное, даже лучший мамин ученик! Совершенно одинаковые льдины с гудением и стонами напоздали друг на друга, а потом взрывались и звенели и рассыпались на длинные ледяные иглы. А на смену им, кружась, надвигались и громоздились все новые и новые глыбищи. Они несли на своих горбах следы зимней, не до конца растаявшей жизни: угольные пятна отгоревших костров, вешки, обрамлявшие бывший санный путь, обломки строений и заборов, с корнем вывороченные деревья, на которых плыла захваченная ледоходом врасплох всякая лесная живность.

Мать наказала мне к реке не приближаться, подхватила коромысло с мокрым бельем и пошла к дому. Я был послушным ребенком и к несущимся льдинам не подхо-

дил, но рядом, почти на берегу, лежала толстая, ноздреватая неподвижная глыба. Если на нее взобраться, то наверняка можно было бы увидеть и Зею, и много чего еще. Я, конечно, на льдину взобрался, а чтобы увидеть всего побольше, даже подпрыгнул. Подпрыгнул и вдруг погрузился по горло в рассыпающуюся грудку ледяных иголок. Я закричал, но голос мой утонул в грохоте ледохода. Уцепиться было не за что, а ледяная каша медленно тронулась и вдруг поползла по скользкой прибрежной глине вниз к реке. Я барахтался, хватал ртом жидкую грязь, но скоро обессилел, оцепенел от холода и замер неподвижно, увлекаемый потоком. Река гремела ближе и ближе, а мне было все равно. Вдруг что-то ударило меня в бок. В это «что-то» я вцепился и прижал его к себе. Это был толстый кол, крепко вбитый на берегу еще с лета — к нему привязывали лодки. Ледяная каша нехотя обтекала, освобождая меня, и уползала вниз, соединяясь с мутным потоком не то Шилки, не то Аргуни. Я постоял на берегу одинокий и свободный, а потом, отцепившись от своего кола, побрел домой.

Способен ли пятилетний человек размышлять о жизни и смерти, справедливости и прочем вечном? Утверждаю — пятилетний человек размышляет об этом постоянно и напряженно. Взрослые — реже. Они не способны подняться над рутинной.

Через день у нас были похороны. Провалился под лед пограничник. Он утонул приблизительно в то же самое время, когда я держался за кол. Прощаться пришли все — и пограничники, и казаки с семьями. Покровка наша была старинная, екатерининских времен, казачья станица. У открытой могилы стоял на козлах красный гроб, а на груди у неподвижного пограничника лежала зеленая фуражка. Играл духовой оркестр, и все плакали. У кладбищенской ограды выстроились казаки с обнаженными шашками. Вперед вышел пограничный начальник и прокричал: «Тише, товарищи! Шапки долой! Красноармеец погиб молодой!» Все женщины заплакали громче, и моя мать тоже. Потом пограничники стреляли залпом.

Мне очень понравилось. Я даже немного пожалел, что тогда уцепился за кол, а не утонул, как пограничник. Мало того что мать отчитала меня учительским голосом, раздела догола и, укрыв толстым одеялом, заставила дышать над кипящим чугуном! Она еще пригрозила мне утюгом! Стоило ли, в самом деле, цепляться за кол? Ведь я знал этот утюг! Утюжище был черный, остроносый, похожий на пароход, но с круглыми дырочками-ноздриями и крышкой. Откинув крышку, мать засыпала в его чрево угли, а потом их поджигала. Она ожесточенно размахивала утюгом, пока в дырочках-ноздрях не появлялось синее гудящее пламя. Тогда мать осторожно прикоснулась влажным пальцем к утюговскому брюху, и он угрожающе шипел. Вот этим-то утюгом мать и пообещала прогладить меня хорошенько, чтобы выгнать из меня всю простуду и чтоб я запомнил, как это — лезть без спросу в не то Шилку, не то Аргунь. Сегодня мать про утюг не вспоминала — отвлекли похороны, но кто знает...

А когда-то давным-давно, еще до этого ледохода, мы с матерью каждый день ездили на саночках в Китай. У нас была с китайцами общая прорубь. Казаки и китайцы чистили ее поочередно и ежедневно брали воду. Женщины у проруби обменивались новостями, ссорились, мирились и сплетничали. Но, конечно, не моя мать! В споры она не вступала, всем улыбалась, и ей тоже все дружно улыпались. Она же была Учительница! Мужчины тоже в разговоры не вступали, только степенно здоровались с китайцами.

Правда, это были не совсем китайцы. Можно сказать, что даже совсем не китайцы, а обыкновенные русские. Мать непонятно объясняла мне, что была гражданская война и в Китай русских китайцев «занесла судьба». У тех, которые оказались в Китае, и у тех, которые жили в Покровке, было много родственников. На Пасху Покровка пустела — казаки отправлялись за рубеж к родственникам — праздновать. Ведь в советской Покровке Пасху не попрарднуешь! Пограничники глядели на все

это сквозь пальцы. Зато уж первое мая у нас было необыкновенное: казаки и китайцы, отгуляв Пасху, с песнями пересекали границу и потом дружно отмечали в Покровке День солидарности трудящихся. Демонстрантов у нас на базарной площади всегда было вдвое больше, чем жителей в Покровке.

Меня всеобщее веселье не удивляло. Не удивляла ни демонстрация, ни парад пограничников, ни джигитовка казаков. Ведь первое мая — мой день рождения! А в мой день рождения все должно быть необыкновенным! С утра в доме пахло пирогом и наше принаряженное семейство садилось завтракать. Я не ждал никаких подарков, потому что подарки, поцелуи и другие проявления «мещанства» у нас были не в ходу.

Поскольку отец был лесничим, наше семейство постоянно переезжало из одной глухомани в другую. Из одного казенного жилья в другое. После каждого переезда мать наспех жилью это обставляла. Она обзаводилась оконными занавесками и книжной полкой, размещала единственный, но свадебный подарок отца — швейную машину и расстилала на полу медвежью шкуру — отцовский охотничий трофей. Вторую медвежью шкуру отец прикреплял к стене собственными руками, на этой шкуре он развешивал оружие. Все! На этом очередное новоселье и заканчивалось. Не считая водружения в парадном углу портрета Вячеслава Михайловича Молотова. Непонятно почему, но мать, изъяв из очередной отцовской конторы Вячеслава Михайловича, поселила его к нам навеки. Водружение Молотова в угол стало семейным обрядом. Мать возвела наркоминдела СССР в ранг хранителя семейного очага. Может быть оттого, что мой отец тоже был Вячеслав?

Так мы и жили: мать учила покровских детей в школе, а отец пропадал в командировках по лесным уделам, засекам и лесничествам. Потом был снова ледоход и снова Первое мая, и оказалось, что мне уже шесть лет.

Пирог был готов и благоухал, накрытый чистым полотенцем, а мы ждали возвращения отца с демонстрации.

Отца «повысили», и он теперь должен был стоять на трибуне вместе с другими начальниками посередине базарной площади и помахать рукою демонстрантам. Пришел отец, как всегда, мы занялись пирогом, но мать вдруг подняла голову и спросила:

— Вячеслав! Чем от тебя пахнет?

— Пирогом, — ответил отец.

— Нет не пирогом, — мать деликатно понизила голос, — ты на что-то наступил. Ну-ка! Из-за стола!

Они отошли в сторонку и стали шептаться, потом смеяться, потом ушли в сени и принялись громко хохотать. Вернулись они, вытирая слезы и переглядываясь.

— А если это провокация? — серьезно спросила мать.

— Нормальная, человеческая реакция, — пояснил отец, и они снова засмеялись.

А дело было вот в чем. В Покровке задолго стали готовиться к Первомаю. На базарной площади из свежего желтенького теса воздвигли невиданное сооружение — трибуну. Трибуна оказалась в центре повседневной базарной жизни, и местные жители постепенно стали приспособлять ее к делу. Торговки вбивали в нее гвозди и подвешивали вязанки лука и сушеных грибов, на ступеньках старухи торговали семечками. Здесь же совершались торговые сделки. Если сделка была крупная, ее тут же обмывали. Когда дети просились «пи-пи», их пристраивали под трибуну. Народ, наконец, понял, для чего нужна эта самая трибуна, и теперь все делали под трибуной не только «пи-пи». К трибуне пролегла народная тропа! Это и неудивительно. Воздвигая трибуну, начальство и не подумало о постройке другого, менее помпезного, но крайне нужного сооружения.

Согласно законам природы, на свежем воздухе и морозце последствия всенародного пользования не очень давали о себя знать. Но пригревало весеннее солнышко, и народ близ трибуны стал как-то принохиваться и от нее отдаляться. Первыми отдалились торговки нежным товаром — луком и грибами. Затем переселились на

сельповское крыльцо торговли семечками, потом любители выпить и посудачить.

И вот, Первого мая объявились на трибуне принаряженные по случаю солнечного денька и ничего не подозревающие руководители. Они были, конечно, «рабоче-крестьянского» происхождения, люди закаленные и ко всему привычные, но вонь такой весенней силы и концентрации даже их повергла в смятение. Насторожил и напугал также политический резонанс. Демонстранты флажками размахивали, но трибуны сторонились. Между народом и вождями образовалось пустое пространство. Пограничники с винтовками наперевес по уставу печатали шаг, но «равнения направо» не держали — слегка отворачивали носы. Казачий эскадрон, отмахиваясь шашками, промчался мимо трибуны ускоренным наметом. И впервые среди присутствующих на трибуне прозвучало то самое слово: провокация.

Слово это было уже не новое. Не подвезли в Покровку соли — это, ясное дело, провокация. Перешла пограничную полосу корова — провокация. Вдруг пошел слух, что пользуются трибуной не по назначению именно зарубежные китайцы. Что все у них заранее продумано и предусмотрено, чтобы трибуну осквернить!

С утра я пошел к бережку, туда, где сливаются не то Шилка, не то Аргунь, и увидел, что пограничники с криками загоняют трехдюймовку в открытый за ночь блиндаж. Трехдюймовка повернута была рылом в сторону Китая. И правильно! Нечего устраивать провокации и портить мне день рождения! Я не знаю, как там дальше повернулось дело с провокациями в Покровке, потому что нам, Мельниковым, предстоял очередной переезд — далекое путешествие в большой город Благовещенск, где есть даже настоящие, не игрушечные, автомобили и двухэтажные дома.

# Андалузская ночь так была хороша

— Здесь Зея впадает в Амур! — объявила мать. — Мы уже плывем по Амуру!

Встречный пароход дал гудок. Этот пароход был точной копией нашего «Сергея Лазо» — с таким же огромным гребным колесом на корме. Но на корме трепетал странный, незнакомый флаг, а на носу было название «Верочка» и еще что-то по-китайски. Пароходы сблизилась и склонились друг к другу бортами, потому что все пассажиры столпились на палубах. «Беяки недобитые!» — кричали пассажиры с нашего «Сергея Лазо», а с «Верочки» отвечали, что мы «сволочь краснозадая». Для судоходства на Амуре был общий фарватер и пароходо-близнецы часто встречались. Капитан приказал в жестяную трубу всем покинуть палубу и закрыть окна в каютах.

Мы сидели в запертых каютах, а капитан через свою трубу снова и снова просил нас не выходить и проявлять бдительность, потому что «граница теперь на замке». Родители воспитывали меня поочередно. Мать просвещала меня по части географии, а отец нажимал на политграмоту. «Нужно же ему хоть что-то, хоть как-то объяснять!» — говорил отец. Согласно политграмоте, получалось, что судьба развела не только людей, но и корабли. Когда-то по Амуру плавали два парохода — «Верочка» и «Наденька». Так назвал их богатый купец Чурин в честь своих дочерей.



В гражданскую войну (опять гражданская война!) Чурин сбежал на «Верочке» в Китай, а «Наденьку» советская власть переименовала в «Сергея Лазо».

— И вот мы, советские люди, — закончил отец, — плывем теперь на своем пароходе...

— И проявляем бдительность, — добавил я.

— Вечно он все переворачивает, — почему-то рассердился отец, — провокатор какой-то!

— Маленький еще, — заступилась мать.

Но я все-таки спросил про «границу на замке». Я предположил, что она теперь на замке потому, что китайцы так некрасиво поступили тогда с нашей трибуной. Отец сдержался и ровным голосом разъяснил мне «международное положение». Оказывается, виноваты вовсе не китайцы, а японцы. Это они отвоевали себе кусок Китая и назвали этот кусок государством Мань-джо-уго. Теперь они захотели прихватить еще и кусок нашей социалистической отчизны, а мы в ответ закрыли границу на замок.

— А сделал это товарищ Сталин, — добавил отец.

— И наш Вячеслав Михайлович? — спросил я у матери.

— Ну вот! — довольно улыбнулась мать. — Он уже кое-что понимает.

В Благовещенске действительно были двухэтажные дома и целых два трехэтажных: гостиница «Амур» и бывшее ГПУ, а по-новому, НКВД. Были и автомобили. Ведь Благовещенск — город пограничный, и в нем расположилось сразу три иностранных консульства: японское, китайское и этого самого Мань-джо-уго.

Консульства прятались за высокими заборами. Я однажды заглянул через щелочку во двор японского консульства. Там маленькие тоненькие японочки перекидывали через сетку мячик. Толстый японец подошел к щели и показал мне кулак. В городе иностранцы появлялись только раз в пятидневку — в банный день. Тогда городская баня закрывалась, а жители терпеливо поджидали, когда на главной улице имени Ленина появится интересная дипломатическая процессия. Первым выезжал черный

автомобиль с японским флажком и открытым верхом. Рядом с шофером-офицером сидел тот самый толстый японец, одетый в черный сюртук и с черным цилиндром на круглой голове. Японец был вылитый буржуй из журнала «Крокодил». На заднем сиденье гнездились штук шесть вывезенных на помывку хорошеньких японочек в ярких кимоно.

За японцами, чуть поотстав, трясся экипаж китайской миссии. Это была линейка — длинная телега с лохматой веревочной упряжью. Телегу тащили две шустрые монгольские лошадки. Китайцы сидели на линейке, свесив ноги, как мальчишки на заборе, и смотрели прямо перед собой, гордо не замечая японцев. Ведь Китай и Япония находились в состоянии войны. Перемирие устанавливалось только на банный день.

Процессию завершала лакированная извозчицья пролетка консула Мань-джо-уго. Он сидел, развалясь на подушках, в клетчатом пиджаке и военной фуражке с высокой тульей. На облучке возвышался бородатый русский извозчик, видимо, нанятый консулом, и непрерывно звонил в большой колокол. Почему он так трезвонил, никто понять не мог. Если консул боялся, что под пролетку нечаянно попадет кто-то из местных жителей, то он напрасно беспокоился — даже на улице Ленина глубокие колдобины и непролазная грязь гарантировали пешеходам полную безопасность. Когда процессия скрывалась за углом, следом за ней, рыча и разбрызгивая грязь, пронесился черный фордик НКВД — это органы приглядывали за дипломатами.

Мы, наконец, поселились. Отец снял половину маленького домика во дворе, на Октябрьской улице, названной так в честь Великого Октября. В одной половине дома разместилось многодетное семейство, бежавшее от голода с Украины, а в другой теперь жили мы. Наша швейная машина «Зингер-полукабинет» уже заняла свое место у окна, медвежьи шкуры и отцовское оружие также были пристроены. Вячеслав Михайлович смиренно висел

над столом. Когда я вышел погулять и поглядеть на новые места, ко мне подошла девчонка моих лет и протянула что-то черное.

— Жмыхов хочешь? — спросила она.

Я повертел жмыхи в руках и отдал обратно.

— Цэ трэба разжуваты, — пояснила девчонка и впи-лась в черный комок крепкими зубами.

— Это можно есть? — спросил я.

— А як же! — удивилась девчонка. — Мы тильки жмыхи и ядим!

Наша Октябрьская улица вела к сенному базару, потом к монопольке<sup>1</sup>, а потом на кладбище. Сидеть на лавочке перед нашими воротами было очень интересно. С утра по Октябрьской шли русские хозяйки с корзинами, чуть в сторонке, отдельными кучками шагали китайцы и несли на прямых длинных коромыслах всякую зелень и овощи. У китайцев из-под островерхих шляп свисали косы, а китаянки мелко перебирали крошечными ножками. Ступни им с детства туго бинтовали — чем меньше ножка, тем красивее китаянка. Потом шли цыганки с цыганятами — поворожить и поглядеть, где что плохо лежит. Потом тряслись телеги с бочками, ведрами и визжащими в мешках свиньями. Потом наступала тишина. Это был кладбищенский час. На извозчике или пешком появлялись музыканты с медными трубами и огромным барабаном. Они торопились на кладбище — оживленно перекликались друг с дружкой и даже бежали, чтобы поспеть вовремя. А потом, чуть позже, издалека доносилось печальное пение труб и глухой стук барабана. На Октябрьскую вступала похоронная процессия. Впереди шли музыканты. Теперь лица у них были другие — печальные и торжественные.

Мать очень не любила, когда я сидел на лавочке в предвечернее время, потому что в это время из монопольки по домам разбредались «больные». Они качались,

<sup>1</sup> Винная лавка, монопольно торговавшая водкой. — *Ред.*

пели хриплыми голосами и засыпали прямо поперек тротуара или в канаве. Мать называла их всех больными, чтобы «уберечь ребенка от этого ужаса», но Верка очень смеялась и все мне объяснила: «яки таки больные? Вонны ж пьяные!» Поздно вечером, когда дневная жара спадала, на лавочках располагались женщины поболтать о разных разностях и поглазеть на прохожих. При этом они расчесывали волосы и что-то в них выискивали друг у друга. Было тепло, темно и очень красиво пели лягушки. Их в нашей канаве было видимо-невидимо и лягушачьих детей тоже. Верка мне рассказала, что лягушки так красиво поют потому, что нынче у них народились «гарны головастики».

У нас появился новый член семьи. Однажды отец разбудил меня рано и велел побыстрее одеваться.

— Мы идем на базар, — сообщил он.

— Без мамы? — удивился я.

— У нас важное мужское дело. Поторапливайся!

На базаре, как всегда, было крикливо и людно. Отец тащил меня за руку и пробирался в ту сторону, где мычали коровы и ржали лошади. «Сюда, Вячеслав Владимирович!» — окликнул нас какой-то дядька и нырнул под телегу. Мы с отцом нырнули следом. Поодаль к возу с сеном была привязана угольно-черная коровенка, один рог у нее был кривой. «Вот! — торжественно сказал дядька, — не пожалеете, Вячеслав Владимирович! Зовут Чернявка! Из хороших рук! С рекомендацией, можно сказать!»

Первой у ворот нас встретила Верка.

— Чого ж вона така криворогая? — причитала Верка, — и вымячко в ей малэнько! Пидманулы! Ох, пидманулы вас, Чеслав Владимырыч!

За отцовским плечом появилась мать.

— И правда, Вячеслав, — неуверенно сказала она, — конек-горбунок какой-то.

В Благовещенске было голодно. Через весь город отец привозил нам на велосипеде причитавшийся ему казенный обед. В жестяных судках плавали останки рыбьих

голов — это «на первое» и пшенка, сдобренная вонючим говяжьим жиром, — это «на второе». Во время обеда отец проводил со мной политбеседы. Он говорил про «границу на замке», про голод на Украине и про другие временные трудности. В конце концов, он однажды явился домой пешком без судка и без велосипеда. Оказывается, временные трудности возросли, казенные обеды отменили, а велосипед пришлось временно продать и купить криворогую Чернявку. Чернявка нас не подвела. Поначалу я сомневался, будет ли молоко у такой черной коровы достаточно белым, но оно оказалось и белым, и вкусным. Мать выгоняла корову к стаду, вечером ее встречала, говорила ей ласковые слова и старательно доила. Чернявка благодарно мычала, а на столе у нас стали появляться всякие полезные и питательные продукты. Мать хлопотала по хозяйству и пела. Она хорошо пела, но стеснялась. А при мне не стеснялась. Она пела про девицу, которая жадно глядит на дорогу, про бродягу, который переехал Байкал, а особенно часто и красиво она пела про андалузскую ночь, которая «так была хороша», а «девица поджидала милого». Почему-то как раз на словах: «это он, это он! О, мой рыцарь, мой князь!» с работы возвращался отец. Отец время от времени ворчал, что он теперь не лесничий, а канцелярская крыса, но все-таки ему нравилось, что вот уже почти год он живет с семьей и почти что в собственном доме. «Даже корова есть!» — говорил отец и смеялся.

Каждую пятидневку мы ходили в кино. На улице Ленина было два кинотеатра. Один был государственный и назывался «Гигант», а второй — частный, нэповский, под названием «Мираж». В «Гиганте» крутили «Турксиб» и «Путевку в жизнь», а в «Мираже» я быстро засыпал, потому что кино там было немое, да еще и про любовь. Но зато перед сеансами там продавались «коммерческие» пирожные без карточек!

Вечерами родители поочередно читали вслух «новинки». При чтении они спорили или смеялись. Они очень

смеялись, когда Алексашка Меньшиков и царь Петр протаскивали через щеку иголку с ниткой. И очень спорили, будет или не будет революция в Японии, когда читали книжку «На Востоке» какого-то Павленко. Отец говорил, что японцы политически не созрели, а мать, что созрели: «не дураки же они, ей-богу!». Когда родители думали, что я уже сплю, они переговаривались шепотом. Отец часто рассказывал о каком-то «амурзейлестресте», где многих «взяли» неизвестно за что. Мать ахала, а отец говорил, что это «очередной перегиб» и «недоразумение».

Однажды отец пришел с маленьким черным ящичком и треногой. «Это «фотокор», — сказал он, — будем осваивать!» Прежде всего, отец решил освоить автоспуск, чтобы мы сфотографировались все вместе. С той поры, каждый вечер мы с отцом проводили в подполье. При свете красного фонаря мы проявляли и закрепляли. Чаще всего в ванночке на листе фотобумаги не проявлялось ровно ничего или появлялось что-то смутно-расплывчатое. Но, в конце концов, совершилось чудо! Однажды я, не особенно надеясь, глядел на мокрый лист фотобумаги, и вдруг на дне ванночки, словно из ничего, медленно-медленно возникли лица матери и отца, а посерединке улыбался я. Снимок этот я храню много лет. Мы на нем все вместе, нам хорошо и весело. Такого снимка у нас уже никогда не будет.

# Недоразумение

Я бежал домой сказать, что идет стадо и пора встречать Чернявку, но у крыльца остановился, как вкопанный — на ступеньках сидел незнакомый человек в военной фуражке с малиновым околышем.

— Тебе кого? — спросил малиновый.

— Это наш дом, — ответил я.

— Ваш дом? — переспросил малиновый. — Тогда входи!

Я вошел и не узнал нашего дома: все вещи были сдвинуты, все дверцы распахнуты. На полу валялись книги и бумаги. Даже Вячеслав Михайлович на стене висел как-то криво. Второй малиновый по-хозяйски рылся в ящичках материнского «Зингер-полукабинета» и вынимал горстями лоскутки, пуговицы и другую мелочь. Я не сразу увидел родителей. Они сидели в сторонке, у стены, с неподвижными лицами. Я еще никогда не видел у них таких лиц.

— Это кто? — спросил второй малиновый.

— Сын, — ответил отец, — можно ему сесть?

Малиновый хмыкнул утвердительно. Тогда я потихонечку сел на табуретку, которая стояла посреди комнаты. «Виталий, — ровным голосом сказал отец, — у нас обыск. Сиди и смотри!» И я смотрел, как совсем чужие люди перетряхивали нашу одежду, читали наши письма и отцовские бумаги, как перепуганные Веркины родственники-«понятые» дрожащими руками подписывали что-то.

А потом мне было разрешено проводить отца до ворот. У ворот малиновые остановились.

— Посреди дороги положено водить, — сказал один.

— Так ведь грязь, — возразил другой.

— Ведите по тротуару. Куда я тут сбегу? — пожал плечами отец.

Так они и уходили по дощатому узкому тротуару. Отец шел первым, а за ним, переговариваясь о чем-то своем, шли малиновые. Отца я больше никогда не видел. И, сколько я помню, мать больше никогда не пела. Ни про «андалузскую ночь», ни про «рыцаря и князя». Теперь по ночам она что-то писала, я находил скомканные и перечеркнутые тетрадные листочки и все про одно и то же: «Дорогой Иосиф Виссарионович! — писала мать. — Произошло ужасное недоразумение!» Она носила передачи, ждала казенных ответов, темными вечерами к ней приходили знакомые жены арестованных мужей и они долго обсуждали что-то. Помню, одна из них принесла «хрустальный» шар и положила его на черную бархотку. А потом они зажгли свечи, уселись тесным кружком вокруг шара и долго на него смотрели. Кто-то им пообещал, что если на этот шар долго смотреть и при этом загадать желание, то они увидят своих мужей в их тюремных камерах. Но с гаданием что-то не получилось, и мать опять проплакала всю ночь. А на утро я снова нашел много скомканных листков.

Не знала мать, а я и подавно, что многие тысячи матерей и жен во всех концах страны пишут Иосифу Виссарионычу, Лаврентию Пальчу и прочим об «ужасных недоразумениях», случившихся с их близкими. Мать пыталась устроиться на работу, но никто ее не брал, потому что «жена врага народа не должна работать в советской школе». Однако матери повезло — жена другого врага народа (та, что с шаром) пристроила мать учетчицей по сбору утильсырья. Мать приходила поздно, очень уставшая, потому что шла с другого конца города. Запершись на кухне, она долго отмывалась и меняла одежду. Теперь



она не плакала по ночам, и лицо у нее было упрямое. С таким же упрямым лицом она поднималась утром, кормила меня и отправлялась учить утильсырье.

Ту ночь я запомнил на всю жизнь. Мы услышали тихий стук в окно, и мужской голос позвал: «Гутя, Гутя!» Так зывал маму только отец. За окном белело чье-то лицо.

— Гутя, я от Вячеслава, — сказал голос.

Мать кинулась к дверям. В комнату вошел небритый человек в мятой шинели и летном шлеме.

— Не бойтесь меня, — быстро сказал человек, — Вячеслав просил передать... уезжайте отсюда к вашему отцу.

Человек протянул узкую полоску бумаги. Мать схватила записку и впилась в нее глазами.

— Это не Вячеслав писал, — сказала она.

— Писал Вячеслав, но до этого его... его допрашивали.

Человек сел и замолчал. Мать ждала.

— Мы с Вячеславом однокамерники... Я — военный летчик... Меня сегодня выпустили. А его вот... пока нет. — Гость вдруг поднялся. — Уезжайте поскорее, Гутя, вас могут разлучить с сыном. Обо мне ни с кем не говорите. Счастливо.

И летчик ушел. Мы с матерью долго разглядывали записку. Бумажка была помятая, с оборванными краями, а написано карандашом, вкривь и вкось, словно бы детской рукой.

С утра мать заварила клейстер и мы пошли по Октябрьской расклеивать на заборах объявление: «Срочно продается корова. Кличка — Чернявка. Недорого». Мать плотно прижимала листки к столбам и доскам, а лицо у нее было упрямое.

Дед Данило Фомич приезжал к нам недавно погостить и поглядеть, как мы устроились в Благовещенске. Он любил мою мать — старшую дочь Августу, а всего их у него было пять: от первой жены Фелицаты — три, от второй — Александры — еще две, а от третьей, неизвестной нам Марии Исааковны, проживающей ныне в Омске, дед получил в приданое еще двух готовеньких приемных

дочек. Так что всего получилось семь! «В этом бабском царстве ты один — моя надежда, — внушал он мне. — Да и то, ты не Трапезников, а какой-то Мельников!» После первой рюмки дед сразу начинал рассказывать про русско-японскую войну. Тридцать лет назад он воевал в Манчжурии, неподалеку от Благовещенска. Ему здесь так понравилось, что после войны он выписал сюда Фелицату и здесь укоренился. Он говорил про эту войну так, будто она закончилась вчера. Он поносил русских генералов и пересказывал армейские прибаутки. «Куропаткин в Ляояне, как тетеря в гаоляне!» — кричал дед, ожидая веселой реакции слушателей. После второй рюмки Данило Фомич исполнял свою любимую песню:

Раз полоску Маша жала,  
Золоты снопы вязала,  
Молодая! Эх! Молодая!  
В это время из похода  
Шел солдат шастого года  
Из Китая! Иэх! Из Кита-ая!

На этом месте мать всегда пыталась деда остановить, но остановить его было невозможно.

Парень видит: баба пышет,  
Рубашонку грудь колышет  
Молодая! Иэх! Молода-ая!

После этого куплета меня обычно отправляли погулять.

Рассказывая о своих подвигах на сопках Манчжурии, дед как-то перескакивал еще через две войны — через мировую и через гражданскую — и плавно переходил к мирным временам. На то были причины. Крестьянина Данилу Трапезникова забривали на войну многократно. И если с русско-японской все было понятно, то дальше начиналась путаница. Его мобилизовали и демобилизовали: царское правительство, временное правительство, колчаковское правительство, советская республика,

дальневосточная республика. Сколько раз в его село Видоново Тобольской губернии входили очередные победоносные войска, столько раз победители и зачисляли крестьянина Трапезникова в свои ряды. Конечно, когда «разгромили атаманов, разогнали воевод», советская власть объявила всеобщую амнистию, но дед, понасмотревшись на всякие власти и правительства, тихо поселился в сторонке — в Омске. «Совью свое гнездо!» — объявил дед, зазывая нас в гости. И вот мы теперь спешно пакуем медвежьей шкуры и «Зингер-полукабинет». Мать аккуратно обшивает мешковиной швейную машинку — отдельно и кружевной чугунный станок — отдельно. Химическим карандашом она выводит: «Станция назначения — ст. Омск».

Но дед Данило Фомич так и не свил своего гнезда. Мы приехали в Омск на Тверскую улицу восемьдесят «а» и увидели мазанковую халупу в два окошка с недоделанной свежей пристройкой и нарисованной на ней большой буквой «А». Было раннее утро. С полу уставилось на нас множество женских и детских глаз. Никогда не думал я, что у меня столько теток и двоюродных сестер. Родные дочери деда уже народили своих дочерей, а две дочки неизвестной нам Марии Исааковны еще по две девчонки. Из них одна пока не умела говорить, а другая вообще была глухонемой. И все это семейство кричало, мычало, непрерывно требовало поесть, пописать и покакать.

А деда Данилу в разгар достройки задуманной пристройки пришли и арестовали малиновые «за сотрудничество с адмиралом Колчаком». Приговор: десять лет «без права переписки». Мы тогда еще не знали, что на языке малиновых это означает «расстрел».

Дедовское гнездо с шумом и плачем поднималось и с такой же суетой и криками устраивалось на ночлег. Это было нелегкое дело, потому что на полу нашей хибары нужно было расположить еще и мужей, возвращавшихся вечером с работы. Никто нас здесь не ждал, но и уехать отсюда мы тоже не могли — мать боялась потерять

связь с отцом и боялась малиновых. Оказывается, прав был летчик: таких, как мы, приказано было разделять. Ребенка — в детдом, мать — в ссылку.

В школе на самой окраине Омска требовался библиотекарь. Мать согласилась взять временно, на полставки, без отметки в паспорте. Мы стали жить в библиотеке — приходили на Тверскую только ночевать. Брели в темноте по колено в снегу, потому что уже наступила зима. Мы приходили в храпящую и сопящую хибару, и мать в запечном закуске потихоньку стирала и гладила, для того чтобы наутро в школе и библиотеке мы «выглядели прилично».

# Явление Оверьки Чижика

В нашем библиотечном сидении мать все чаще вспоминала свое детство, дедовское село Видоново и многочисленную сибирскую родню. Я узнавал всякие интересные истории про Трапезниковых и Трусихиных.

Трапезниковы занимались хлебопашеством, извозом, держали почтовых лошадей, а прадед Фома Иваныч даже построил отдельный просторный дом — «фатеру» — для всякого проезжего начальства. Трусихины, родня по женской линии, разводили птицу — кур, гусей, уток — и гнали зимой обозы с мороженой птицей на дальние сибирские ярмарки в Ишим, Ирбит и даже в Семипалатинск. Здесь они обменивались товарами с кочевым народом — киргизами и казахами. Получилось так: у Трусихиных был товар, а у Трапезниковых лошади, чтобы этот товар перевозить. На том они познакомились, подружились, а потом и породнились. Доходило до того, что если в роду Трапезниковых рождалась девочка и ее называли Августой, то и новорожденную девочку из Трусихиных тоже называли Августой.

Многочисленный, трудолюбивый и сплоченный клан Трусихиных-Трапезниковых задавал тон в Видонове. Мать рассказывала и про других видоновских жителей. Неподалеку от Видонова, за рекой Ишим, жила, к примеру, семья местного колдуна и конокрада Гришки Распутина.

Гришка притащился в Питер, заколдовал царя с царицей, а потом никак не мог расколдовать. Он даже приезжал в Видоново, каялся всенародно и подарил жене шаль с царицына плеча. Потом он все-таки опять потащился в Питер, снова принялся за свое, и его, слава богу, утопили. Такова была видоновская версия.

— Жили здесь сытно и привольно, — говорила мать, — бедствовали только уж совсем ленивые.

Мать рассказывала про какое-то семейство по кличке Чижики. Чижики не сеяли, не пахали, летом попрошайничали, а всю зиму сидели на печи, потому что порток у них не было.

— Это сказка? — спросил я.

— Самая настоящая бль, — ответила мать.

Теперь у нас с матерью появилась цель и мечта: когда весной вскроются реки, мы поедем в Видоново. Столько там родни! Найдется и для нас уголок.

— А как же папа? — спрашивал я.

— Мы обязательно встретимся и найдемся! — Лицо у матери становилось привычно упрямым.

— Расскажи мне тогда про Мельниковых, — требовал я.

И мать рассказывала, как дед Владимир Мельников с женой Евдокией и четырьмя детьми жили на горных золотых приисках, как мой отец — Вячеслав — стал лесничим и как они с матерью познакомились.

— А почему он Вячеслав? — допытывался я.

— А потому что, когда-то очень давно, Мельниковы дружили с семьей ссыльных поляков. И тогда польского мальчика они сговорились назвать Владимиром, а русского — Вячеславом.

— Тогда уже были ссыльные? — удивлялся я.

— Ссыльные были всегда, — заключила мать.

Мы ждали весны! Все дозволенные мне по возрасту книжки в нашей родной библиотеке были уже прочитаны, и теперь я читал, что попало. Особенно я любил рыться в куче потрепанных книжек с ятями и твердыми знаками. Там я нашел «Вечера на хуторе близ Диканьки»,